

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Александр Куприн

**Исполины**

«Public Domain»

1912

## **Куприн А. И.**

Исполины / А. И. Куприн — «Public Domain», 1912

«Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы! В нем участвует вся рождественская бутафория: вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик...»

## Александр Иванович Куприн

### Исполины

Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы! В нем участвует вся рождественская бутафория: вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазающие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик.

Но войдите же и в мое положение, господа читатели! Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под рождество. Она могла бы случиться когда угодно: под пасху или в троицу, в самый будничнейший из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к рождеству, а не к другому сроку.

В эту самую ночь, с 24 на 25 декабря, возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы господин Костыка. Был он... пьян не пьян, но грузен, удручен и раздражителен. Давали знать себя: поросенок с кашей, окорок, полендица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в преферанс: уж правда, Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное, было досадно то, что во время ужина, в споре о воспитании юношества, — над ним, старым педагогом, одержал верх какой-то молокосос учительшка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верха-то он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но... другие — мальчишки и девчонки... они аплодировали, и смеялись, и блестяли глазами, и дразнили Костыку: «Что, старина? Приперли вас?»

И потому-то, с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой, проклял он сначала обычай устраивать елки — обычай если не языческий, то, должно быть, немецкий, а во всяком случае, святой церковью не установленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, помянул черным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя математики, в расточительности. «Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверно, женину ротонду заложил!» Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками и вздохнул о старом, добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик (который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с двумя миллионами, забытый накануне у него в санях), этот самый извозчик запросил на Пески «полтора целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка», а когда Костыка предложил ему двугривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то «носоклюем», а Костыка тщетно взывал к городовому о своей обиде: извозчик умчался на резвенькой, городской ташил куда-то вдаль пьяную бабу — и тогда Костыка заодно предал анафеме и русский народ с его самобытностью, и Думу, и отруба, и волюсь, и всяческие свободы.

В таком-то хмуром и придирчивом настроении он взобрался к себе домой, на пятый этаж, проклянув кстати мимоходом и городскую культуру, в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень долго он балансировал с зажженной лампой, вроде циркового жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с «прислугой за все», новгородской каменной бабой Авдотьей, но получил жестокий отпор, после которого в течение семи секунд искал равновесия по всему кабинету, от двери до стены. И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся

за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям.

«За что? – горько думал он. – За что, о Лапидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девических улыбок – то ты и прав? Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами? Погляди, брат, вот они, живые-то свидетели».

Он широко обвел рукою вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые, – сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки, – портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы восторженных слов... И ему вдруг показалось, что по лицам этих исполинов, от глаз к глазам, быстро пробегают, точно летучие молнии, страшные искры насмешки и презрения.

Костыка вздрогнул, отвернулся, протер глаза и тотчас же, для собственного успокоения, вернулся к прежней нити мыслей, на которую стал нанизывать свои жалобы, упреки и мелочные счеты. Но стакан все-таки еще дрожал в его руке.

«Нет, Лапидарский, нет! Я, братец, погляжу на тебя лет через пять – десять, когда ты поймешь, что это такое за шуточка бедность, зависимость и власть... когда ты узнаешь, что стóбит семья, а с ней болезни, родины, крестины, сапожишки, юбочки... Ты вот кричишь теперь: Маркс, Ницше, свобода, народ, пролетариат, великие заветы... погоди, милый! Запое-ешь! Будешь, как и я. Скажут тебе: лепи единицы – будешь лепить. Пусть стреляются, травятся и выскакивают из окон. Идиоты. Скажут тебе: будь любвеобилен – будешь; скажут: маршируй – будешь. Вот и все. И будешь сыт, и пригрет, и начальству приятен. И будешь, как и я, скучать по праздникам о том, что некого изловить в ошибке, некому поставить „един“, некого выключить с волчьим паспортом».

И опять он невольно обернулся к стенам, на которых симметрично висели фотографии человеческих лиц – гневных, презрительных, божественно-ясных, прекрасно-мудрых, страдальческих, измученных, гордых и безумных. – Смеетесь? – закричал вдруг Костыка и ударил кулаком по столу. – Так? Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы – дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам – профессионал и авторитет! Я, я, я, который сейчас произведу вам экзамен. Будь вы хоть распрогенный, но если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и противозаконны – то единица, волчий паспорт и – вон из гимназии на все четыре стороны. Пускай потом родители плачут.

Вот вы, молодой человек! Хорошего роду. Получили приличное образование. К стихам имели способность. К чему вы ее употребили? Что писали? «Гавриилиаду»? Оду к какой-то там свободе или вольности? Ставлю нуль с двумя минусами. Ну, хорошо. Исправились... Так и быть – тройка. Стали на хорошую дорогу. Нет, извольте: камер-юнкерский мундир вам казался смешным. Ведь нищим были, подумайте-ка. Еще нуль. Стишки писали острые против вельмож? Нуль с двумя. А дуэль? А злоба? За нехристианские чувства – единица.

А вы, господин офицер? Могли бы служить, дослужились бы до дивизионного командира, а почему знать, может быть, и выше. Кто вам мешал развивать свой гений? Ну... там оду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника?.. А вы предпочли ссылку, опалу. И опять-таки умерли позорно. Верно кто-то сказал: собаке – собачья смерть. Итак: талант – три с минусом, поведение – нуль, внимание – нуль, нравственность – единица, закон божий – нуль.

Вы, господин Гоголь. Пожалуйте сюда. За малорусские тенденции – нуль с минусом. За осмеяние предержавших властей – нуль, за один известный поступок против нравственности – нуль. За то, что жидов ругали, – четыре. За покаяние перед кончиной – пять.

Так он злорадно и властно экзаменовал одного за другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывался холодный, смертельный страх. Он похвалил Тургенева за внешнее благообразие и хороший стиль, но упрекнул его любовью к иноземке. Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил за полячишек. «Да и православие ваше было какое-то сектантское, – заметил Костыка. – Не то хлыстовщина, не то штунда».

Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами, – глазами человека, который, высоко подняв величественную бородастую голову, пристально глядел на Костыку. Сползший плед покрывал его плечи.

– Ваше превосходительство... – залепетал Костыка и весь холодно и мокро задрожал.

И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо:

– Раб, предатель и...

И затем пылающие уста Щедрина произнесли еще одно страшное, скверное слово, которое великий человек если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями...

...Он проснулся, потому что, задремавши над стаканом, клюнул носом о стакан и ушиб себе переносицу. «Слава богу, сон! – подумал он радостно. – Слава богу! А-а! Так-то вы, господин губернатор? Хорошо же-с. Свидетелей, благодаря бога, нет...»

И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей квартиры и повесил там великого сатирика на веки вечные, к общему смеху и поруганию.